

говорит, — менять буду. — «Как, — говорю, — менять? Надо у барыни спроситься, а потом уж скакать по кабакам». — «Все этикие шлюхи барыни бывают!» — Сел да и засвистал. Что ж мне, не драться же с ним!.. Ну, да это еще ничего. Вечером-то что было! Ты представить себе, Алешенька, не можешь!..

— Неужто правда давить хотел? — серьезно спросил отец.

— Да ей-богу же хотел! — завопила опять Олимпиада Марковна. — Я только загнала корову, глядь — идет! И лошади нету... Я так и обмерла... Ввалился, матушки мои, в избу и прямо ко мне. «Что ты, Матвей?» — спрашиваю, а сама дрожу вся... «Давить тебя, анафему, сейчас буду!» — «Как, говорю, давить? Я крещеный человек... Что ж я собака, что ли?» — «Ну, идол, нечего зубы-то заговаривать, — молись богу!..» А сам встал, мои матушки, сдернул с себя ремень, — а ремень-то толстущий, — да ко мне! «Слышишь, молись богу!»

— Я, батюшка, обомлела вся... (Олимпиада Марковна заговорила жалостно, параспев.) Тут-то я узнала, как перед смертью тяжело бывает! Стала я читать псалом Давида: «Вспомни, господи, царя Давида и всю кротость его». А он уж ремень накинул! А, каково? Что мне делать?.. «Матвей, — говорю наконец, — что ты делаешь? Что ты делаешь! Ну, ты меня удавишь — я в царство небесное пойду, а ты в каторгу. Побойся ты господа бога... Что я тебе сделала?» Он поглядел-поглядел — шварк ремень на пол. «Ну, черт с тобой, — говорит, — живи, океанная!.. Подай мне сулу». Налила супу, подношу — как он опять кулак к морде: «ай жмакну?» Потом сразу раздобрился: веселый, родимец, стал: «Я пошутил!» А хороши шутки? Хороши? До сих пор не опомнюсь!..

Мы только руками развели...

<1890>

«Орловский вестник», 1890, № 151 и 152, 26 и 27 июня, под заглавием: «„Шаман“ и Мотька. Очерк И. А. Чубарова». Воспроизведено (с неточностями, без указания на источник и без даты): «Дон», 1968, № 3.

В ГМТ хранится сброшюванный оттиск, в котором псевдоним стоит рядом с подлинным именем автора, а заглавие расширено: «И. А. Бунин (Чубаров). Обломки дворянства. Очерки. I. „Шаман“ и Мотька». Во всем остальном текст очерка, а также шрифт и размеры столбцов совпадают с газетной публикацией. По свидетельству самого Бунина, оттиск был сделан с набора «Орловского вестника»: «Посылаю тебе статейку о Шамане, — писал он брату Юлию в начале июля 1890 г. — Это оттиск из „Орловского вестника“» (ЦГАЛИ, ф. 1292, оп. 1, ед. хр. 18, л. 31 об.; письмо датируется по упоминанию о чтении повести Толстого «Крейцерова соната»). «Отчего же ты ни строчки не напишешь про брошюру, которая была вложена в моем письме — „Шаман“ и Мотька?» — упрекал он его в начале августа (там же, л. 42; датируется по содержанию письма).

Замысел цикла очерков об уходящем дворянстве, который, судя по названию, введенному Буниным в оттиске, возник у него в это время, не был осуществлен. Возможно, что следующим очерком этого цикла должен был стать «Помещик Воргольский» (см. настоящ. кн., стр. 162—172). Некоторые эпизоды очерка «„Шаман“ и Мотька» (например, судьба одной из воспитательниц Олимпиады Марковны — безумной старой девы или взаимоотношения героини с ее работником) предвосхищают образы и ситуации повести «Суходол».

## БОЖЬИ ЛЮДИ

Очерк из жизни обездоленных

### СУДОРЖНЫЙ

...Увидать этого «судоржного» мне пришлось на Орловско-Грязской дороге...

Поезд уже затих, — прекратилась толкотня и говор пассажиров, перестали стучать двери, когда я вошел в вагон третьего класса и поместился в более свободном отделении.

Все ждали третьего звонка. Обычных дорожных разговоров еще не начиналось... Священник с благодушным лицом, в старом подряснике, из под которого виднелись деревенские грубые сапоги, сидел, снявши шляпу, и, позевывая, смиренно расчесывал

жидкие, поседевшие волосы... Елецкий купец с выпуклыми белыми глазами, с желтоватым отеком лица, лежал на красной подушке и бессмысленно оглядывал с ног до головы какого-то русого и худощавого юношу в мундире ветеринарного института. Тот старался сделать вид, что не замечает этого оглядывания и смотрел в окно, изредка, но сильно затягиваясь папироской собственного изделия... Мужики, сидевшие тесно, рядом на задней лавке в застывших позах, о чем-то тихо переговаривались и вздыхали... Старуха-богомолка, едущая очевидно издалека, усердно глодала прелое яблоко...

Я разместился поудобнее, вынул книжку, закурил и уже приготовился погрузиться в чтение, когда внезапно за дверью вагона раздался какой-то шум и крикливый говор, словно кто-то ломился и его не пускали. Затем дверь сразу распахнулась и стукнула. Какая-то неопределенная фигура, в истрепанном армячишке и без шапки, застряла было в дверях, судорожно ухватившись обеими руками за дверцу, но через минуту, подхваченная сзади двумя кондукторами и рослым мужиком, буквально влетела в вагон и стукнулась об лавку.

— Держи его, ребята, — бормотал мужик, — держи, а я пока получше скручу ему руки... Мы его, идола, усодим!

— Ой, пустите, окайнные, пустите душу христианскую на святое покаяние! — кричал диким петушиным голосом «идол». — Караул! аминь! грабят!.. Не дамся!.. Живой к Вельзевулу не пойду!

И он действительно старался изо всех сил не даться: брыкал и бил ногами, отчаянно царапался рукою (другою он что-то сжимал у живота), бросался кусаться...

Все повскакали с своих мест и окружили барахтавшихся кондукторов. Те тоже старались изо всех сил и, поймав, наконец, руки своего противника, связали локти веревкою.

— Ишь, ишь! — бормотали они. — Ишь, какой заядлый! Нет, брат, стой, сделай одолжение, — угомонишься, морда твоя анафемская!

— Небось, ужрапится, — повторял мужик, налегши животом на его колени, — усядешься, сыночек!

— Усядусь, — вдруг хриплым, но совершенно спокойным голосом согласился «сыночек» и с широко раскрытыми, странными глазами, замер всей фигурой.

— Ну, вот, давно бы так, — сказал мужик, отдуваясь. — Я и говорил, что он все тоскует больше, а бунтовать — почти не бунтует, — добавил он кондукторам.

— Это и видно, — возразил один из них, улыбаясь. — Хорошо он тебя грязью-то с колес мазал по морде, как ты вез его по городу?..

— Вам, чертям, достался бы такой судоржный, — пробормотал мужик, отвертываясь к окну.

Кондуктора со смехом пошли из вагона. Но купец остановил одного за рукав и спросил:

— Да чей это?

— В самом деле, — прибавили еще некоторые, — кто это? Сумасшедший, что ли?

— Больше ничего, господа, как душевнобольной, — ответил отчетливо кондуктор и сейчас же скрылся.

— Ды сын мой, сыночек миленький, — прибавил за ним мужик.

— Откуда же ты его везешь?

— Из сумасшедчева дома...

— Домой — что ли?

— Да, знамо, не к вам. Куда ж окромя дома? Там вон говорят — плати шесть целковых каждый месяц, а где их наберешься? На земли тоже не подымеешь, не щепки. Опять — езда к нему. Проведать-то надо. Он хошь и судоржный, а все жалок... — Мужик махнул рукой и вытащил трубку.

— Нет ли, барчук, турецкого, а то тут махоркой дух напущать не годится, а отойти невозможно: ишь ребеночек-то сидит!

Я дал табаку и начал расспрашивать.

Мужик сказал, что живет он под Ельцом. «Баскаковскую деревню знаете, — ну так, там»... Семья большая, а работник — он один. Сыночек еще с малолетства был судоржный, припадочный. «Бывало, по целым месяцам тоскует. Сперва смиренный

такой ходит: потом как будто ничего, — оправится, да вдруг опять скарежит его, сидит примерно за столом да как заревет-заревет по бычиному, позеленеет весь — и об пол!»

— А работал все-таки?

Мужик глянул исподлобья и ухмыльнулся.

— Работал, — сказал он, — чертям оборки плел, прости господи! — Судоржный-судоржный — а все за девками гонялся. Идет, бывалыча, по деревне, так девки, братец ты мой, от него, как овцы, — врассыпную. А то что ж — облапит, разве выскребешься? Он силой да упрямым весь в меня...

— От бобра — бобренок, от свиньи — поросенок, — сострил худой, черный мещанин с насмешливо-злым лицом.

Мужик пристально поглядел на него и сказал:

— Складно подвел! Вот примерно, ты не от бобра, сразу видно!

В это время занял третий звонок, и мужик начал креститься.

Сумасшедший поднял голову, с удивлением поглядел на всех сидящих в вагоне и вдруг остановил глаза на мне и на лохматой бурке, которая была у меня на плечах.

— У, чахоточный, — сказал он насмешливо, — зачем полубубок вывернул?

И сразу, отвернувшись в угол, озабоченно начал выкладывать из полы армяка яблочки, куски белого хлеба и т. п. Все это он держал сперва, крепко прижавши к животу.

— Знать лопать захотел, — сказал мужик. — Глянь, какой гладкий...

Все с любопытством обернулись на сумасшедшего. Представьте себе небольшого роста малого, лет 25-ти, с толстым крепким туловищем женского сложения и с плоской большой головой, на которой под гребенку были острижены черные волосы, жесткие, как щетина. Лицо у него было калмыцкое, губы чувственные, толстые. Глаза как-то бегали диким взглядом. Руки — стянуты в локтях, отчего грудь у него выдавалась и рубаха обнажала тело.

— Хорош? — сказал мужик.

Купец засмеялся, а священник вздохнул и покачал головою.

— Скажи, пожалуйста, милый, — спросил он у мужика, — как же он окончательно стал сумасшедшим?

— Да как? — ответил мужик. — Очень обыкновенно... Я докажу сейчас... История занятная...

Мы подсели поближе. Поезд стучал, так что мужик почти кричал нам.

— Баскакова барина, небось, знаете? Ну, так, мы полагаем, что он всему делу причиной. Сад у него, почитай, с целую роту, а садовника и в заведении не бывало. Все сам. Выйдет зарею с ружьем, обойдет весь сад, — нет ли, значит, вора, — полыхнет раза три для острастки, взбудоражит галок да грачей и уйдет в дом. Ночью воруй сколько хочешь — ему и горя мало: патрашал, мол, — не пойдут... Ну, вот, братец ты мой; наши мальчишки и залезь к нему в сад, пришли из ночного... Моему-то тогда семьей год был, совсем еще коростовый, а отчаянный: залез на грушу под самым окном и почал тресть... На ту пору как черт толкнул барина: открыл окно, посвистывает... А ребятинки тоже, давай ему ладить. Барин как отскочит от окна, схватил ружье да ке-ек полыхнет вверх! Батюшки!.. Мальчишки с груши кубарем да драли! а мой-то, значит, не спашился, брякнулся обземь да со страху и обмер... Что ж ты думаешь, приволокли его ко мне чуть-чуть живенького... с тех пор и пошел обмирать. Ну да это еще ничего, — обмирал он изредка, больше по ночам, — во сне, знать, увидит, — вскочит, зарет на всю избу и об лавку: вздуешь огонь, а он лежит, как котел синий. Ну, сейчас туда сюда, водою его отольешь, очнется малый... Хорошо... Только стал я примечать, что повадился он к Пармею, к соседу, значит. Не играет ни с кем из ребятшек, а все с его девчонкою, Анюткой. Полюбилась она ему страсть как... Девчонка, правда, была такая ласковая, да веселая: глазенки черные, острые, как волчонок какой... Ну, играй, думаю себе, хоть и с Анюткою. Все, бывало, весною прудки в канаве запруживают, либо зайдут на гумно, молотилку из щепок строят... Знаю, ребятье дело... Подружились, братец ты мой, во как. Отколотит, бывало, ее, и сам разревется... А то раз, — весною, холод, чичер был, — иду я в Новоселок. смотрю —



БУНИН

Фотография Б. Б. Пейроша. Орел, 1889

На обороте дарственная надпись Бунина А. Н. Бибинову: «1891 года января 26 дня. Милому Арсику, другу-приятелю по „рыцарству“ от И. А. Бунина».

Институт мировой литературы им. А. М. Горького АН СССР, Москва

Митька с Анюткой в лугу сидят: Митька надел на нее свою шапку — озябла, значит, а левую ее ручонку к себе в рот засунул. «Анютка,— кричу,— откусит». А она смеется, подняла мордочку: «Он, гырт, дяденька, ее греет, а не обкусывает»... Вот как, братец ты мой, мне чудно да жалостно стало!.. Известно,— деточки, ангелочки божии...

Мужик вздохнул и полез за трубкою... «Сыночек» сидел смирно и глодал какую-то кость, закусывая ее яблоком.

— Хорошо,— продолжал немного погодя мужик, раскуривая трубку,— дело все-таки дрянью кончилось... Сволочь малый-то мой оказался,— грех вспомнить...

— А что такое? — с любопытством перебили некоторые.

— Да что? — почти со злобой сказал мужик.— Уколотил я его было... Пошел я раз вечером за хабтъем лошадям, на гумно, значит, слышу, кричит ктой-то за ригую, в конопляннике. Я бросил лукошко, выбежал,— глядь: Митька повалил на меже Анютку, а она орет что есть мочи... Как подскочил я к нему, сгреб прямо за ногу да об межу!.. Вот те Христос! Что ж, всякий разозлится... Разозлился да и сам был не рад... Митька орет: «батя, я нечаянно»,— а меня пуще злость разбирает. Нечаянно!— Каков постреленок! Шматанул его еще разок за виски, а он как заколотится... Посинел да и лежит...

— Ну, сказать покороче, очумел с тех пор малый, затосковал с этих пор. Все, бывало, уходил в поле, скучный такой. Ляжет, рассказывали ребятишки, на меже и глядит вверх... Об чем он думал — господь его знает. А поболел, стал злой, как дьявол, стал девкам проходу не давать. И наконец, того, прошлый год совсем спятил с ума.

То-то горя-то мы с ним зазнали, особенно зимою: ночи темные, на дворе зги божьей не видать, а он в избе у нас, как колдун, сидит, либо ругается, либо рыдает, стонет, как пес перед покойником... Ночь-полночь, самое глухое время, а тут...

— Ночь-полночь,— глухо сказал Митька, и его калмыцкое, бледное лицо приняло странное, болезненное выражение.— Ночь-полночь,— повторил он, стискивая зубы, словно для того, чтоб удержать рыдания,— меня там ночью били... Я пойду, а он меня ключами да по морде... Небошь, дьявол, ляжешь... И ляжу... У меня там сухой матрас был, мясо круглое на сковородке...

— Хочешь ветчинки?— спросил купец, который в это время закусывал.

Митька схватил кусок ветчины, сжал его в кулаке и опять страшно стиснул зубы, как от нестерпимой боли... Он побледнел, закинул назад голову и замер...

— Будя дурить-то,— сказал отец, стараясь поднять ему голову.— Будя, слышишь, а то опять побью.

Но не успел он докончить, как Митька вскочил и запустил костью, которую глодал, прямо в лицо черного мещанина.

— А вот и тебе!— крикнул он дико и весело и хватил ногой, обутой в здоровый лапоть, изо всей силы в живот «бати».

Мужик взбесился... Он бросился на сыночка, повалил его на лавку и нещадно принялся бить его кулаками в голову. Мещанин бросился держать.

— Батюшки! Господи!— неистово вопил Митька,— пустите... а-ай! Пустите! Пустите!

— Убью, анафема,— захлебываясь кричал мужик, и страшные удары громадного мужицкого кулака сыпались на голову Митьки.

Все повскакали с своих мест, прибежали кондуктора.

— Начальники! спасите!— не унимался Митька,— батюшка... родимый батюшка!... не казни меня!

— Не будешь?— вопрошал мужик, придавив его к лавке и не спуская с него бешеных глаз.

— Что же это такое?— закричали мы кондукторам,— вы не смеете допускать такие сцены!

— Пусти,— грозно крикнул кондуктор мужику.

Мужик поднялся. Медленно с дикими глазами поднялся и сумасшедший.

— Не смей воевать!— грозно крикнул ему кондуктор.

— Да разве я воюю?— зарыдал Митька,— ты пощупай-ка голову... Пощупай, ради Христа...

И он хватал руку кондуктора.

— Ну, что там такое?— сказал тот, подходя к нему.

Страшный удар лаптем в живот был ему ответом...

Что после этого произошло, передать трудно...

Началась опять дикая схватка. Все четверо — два кондуктора, мужик и мещанин навалились на Митьку. Он кричал, делал страшные усилия высвободиться и бил ногами куда попало...

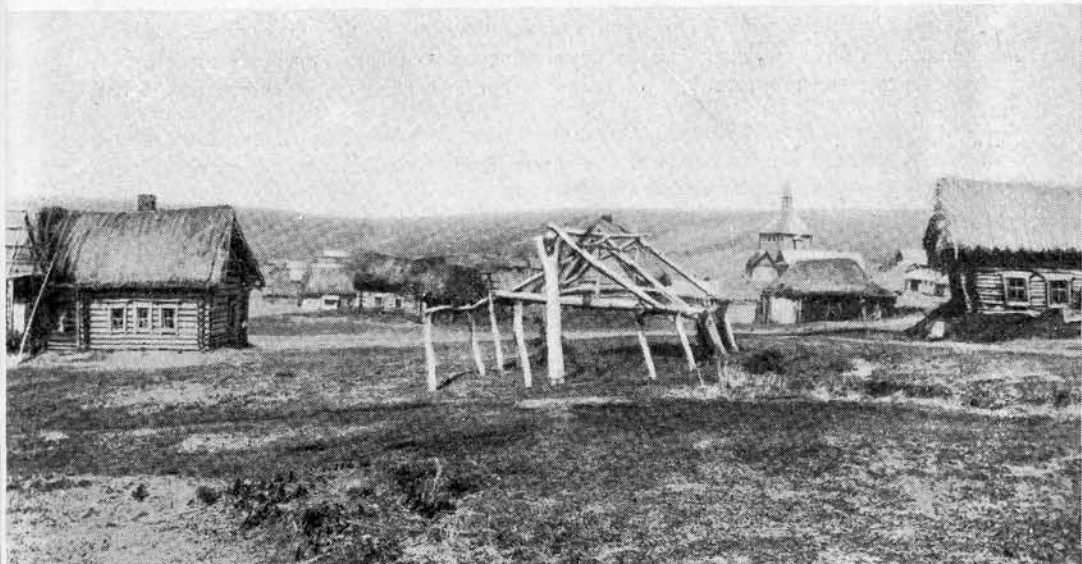
Один из кондукторов поймал его ногу, придавил ее к лавке и моментально распутал онучи и веревки на лаптях.

— Стой!— радостно завопил он, — теперь мы тебя успокоим!

Через минуту ноги Митьки были крепко скручены онучами. Руки, под мышками, стянули назад, на спину, перекинули конец веревки на крюк, где обыкновенно вешают шапки, и стали подтягивать Митьку вверх... У того положительно трещали кости...

Я выскочил из вагона на площадку, чтобы не видеть этой страшной сцены.

Вечером слабо и тоскливо освещенный грязный вагон был переполнен спящим людом... В зыбком полусумраке с трудом можно было разглядеть фигуры пассажиров: спал на спине купец, развалившись по всей лавочке с самым тупым выражением физиономии, до того редко всхрапывая, что в иные минуты можно было усомниться, жив он или нет?... Спала богомолка, поджав под себя ноги и положив кулак под голову:



## ДЕРЕВНЯ

Фотография М. П. Дмитриева, конец 1890-х годов  
Музей А. М. Горького, Москва

ее сморщенное доброе лицо с закрытыми глазами было до того смиренно и скорбно (даже брови несколько подняты кверху), что становилось грустно за ее хилость и одиночество... Спал и мещанин с серьезно надменным выражением лица...

Не спал только Митька. Его отец сидел против него на лавочке и совсем почти спал: закрыв глаза, он ежеминутно «клевал носом»: медленно-медленно опускает голову, догибается почти до колен и потом сразу вскакивает с широко раскрытыми. словно пьяными, глазами.

— Молчи, судоржный! — буркает он Митьке, и снова глаза его, как у петуха на нашесте, начинают «заводиться», и голова медленно, с отвисшими губами, наклоняется к коленам.

Судоржный не обращал на него внимания. Он сидел на лавочке с связанными ногами, причем одна его рука была еще до сих пор подтянута к крюку. Лицо его с унылыми дикими глазами выражало тупую, но страшную, долгую муку...

— Батюшка, родимый батюшка! — монотонно тянул он, — дай мне удовольствие! ох, дай мне удовольствие!..

— Ну, какое тебе, домовой, удовольствие, — иногда вскрикивал на него «батюшка». — Жрать что ли хочешь, проклятый?

— Ох, не хочу я хлеба-соли! — уже со слезами возражал Митька. — Подавись ты сам хлебом-солью... Дай мне удовольствие!.. Вымотал ты мою душеньку... в аде кипеть будешь, в аде...

Голос его начинал прерываться... Лицо искажалось от страданий, он начинал биться и наконец разражался рыданием... Дико раздавалось оно по сонному темному вагону...

Я опять поспешил уйти из вагона... Однообразно покачивался и стучал поезд в темноте дождливой холодной ночи: сырой ветер бил в лицо и нес от паровоза огненные искры.

Мне стало невыносимо тяжело на душе. Каково положение мужика? — думалось мне. — Куда девать ему своего судоржного, который не нынче — завтра может наделать преступлений? Свезти опять в сумасшедший дом? Но там — «плати шесть целковых»... И в моем воображении вставали те зимние, глухие ночи, про которые упомянул му-

жик... Темная, душная изба с еле мерцающим ночником, от которого колеблются по углам тени... На печи смутный силуэт сумасшедшего человека, который вымучивает душу своими дикими стонами... А на дворе — зги божьей не видать, метель — белая вьюга...

Да, невесело...

<1891>

«Орловский вестник», 1891, № 150 и 152, 9 и 12 июня. Подпись: Ив. Бунин.

Заглавие свидетельствует о том, что Бунин предполагал в это время опубликовать в «Орловском вестнике» цикл очерков «из жизни обездоленных» под общим названием «Божьи люди». Возможно, что этот замысел возник еще в 1889 г., при перепечатке в «Орловском вестнике» раннего очерка «Два странника», озаглавленного в новой редакции «Божьи люди. Очерк» (см. настоящ. кн., стр. 139—145).

Воспроизведено (с неточностями): «Радуга», 1965, № 4.

## ПРАЗДНИК

### Сказка

...Пролетая с севера в полуденные страны, стая птиц отдыхала у пустынного моря...

— Как хорошо!— говорили они, глядя в тихое вечернее небо,— весело и спокойно лететь в такую пору! Право, если бы не было темных шумных бурь, на земле было бы повсюду так же весело и счастливо, как в наших зеленых долинах!

Они отдыхали и любовались...

Выше их, на скалах, сидела стая альбатросов; они тоже задумчиво смотрели на море, в даль, и потихоньку говорили:

— Как томительно! Целую неделю мы скитались на этих скалах, целую неделю однообразно и медленно качался прибой под горячим солнцем!.. Право, если бы всегда стояли такие томительные дни, — на земле все заснуло бы и умерло... Давно валялись бы мы на песке...

Старый альбатрос смотрел на далекий запад и молчал: он чувствовал близкую бурю, и это предчувствие весело туманило ему голову дикой отвагой.

— Ничего,— сказал он,— теперь скоро! Скоро праздник!..

Перелетные птицы с удивлением глядели на этих неуклюжих птиц,— их удивляли такие речи, а восклицание старого моряка показалось им нелепо.

— Что скоро?— спросили они друг у друга,— буря? Какой же это праздник? Да и наконец, все спокойно. Посмотрите...

Туманно-раскаленное солнце мертвенно-спокойно утопало в морской дали.

Но на перекатные мелкие волны почему-то набегал белый пенистый отблеск, и они, теснимые прибоем, заводили странный и неопределенно-шумный спор у песчаного берега... Бледный призрак бури уже шел по волнам...

Старый альбатрос не ошибался. Но перелетные птицы ничего не замечали, кроме тишины на берегу,— они не знали моря...

— Да, скоро!— повторил он и опять начал вслушиваться в говор прибоя...

И когда первая струя набежавшего ветра пахнула на него, он оживился: дико и весело взглянул он на померкший запад, на стемневший водяной простор, зорко разглядел маячивший дальний парус и взмахнул крыльями...

Стая альбатросов ожила вслед за ним и с пронзительным криком скрылась в набегающем сумраке...

— Странно!— сказали перелетные птицы,— ну, если скоро, чего же веселеть перед несчастьем?..

И, опасаясь бури, они поднялись и опустились в проходе между скалами, в узкой горной долине.

— Как тут тихо и хорошо!— сказали они. — И зачем нужны бури?..